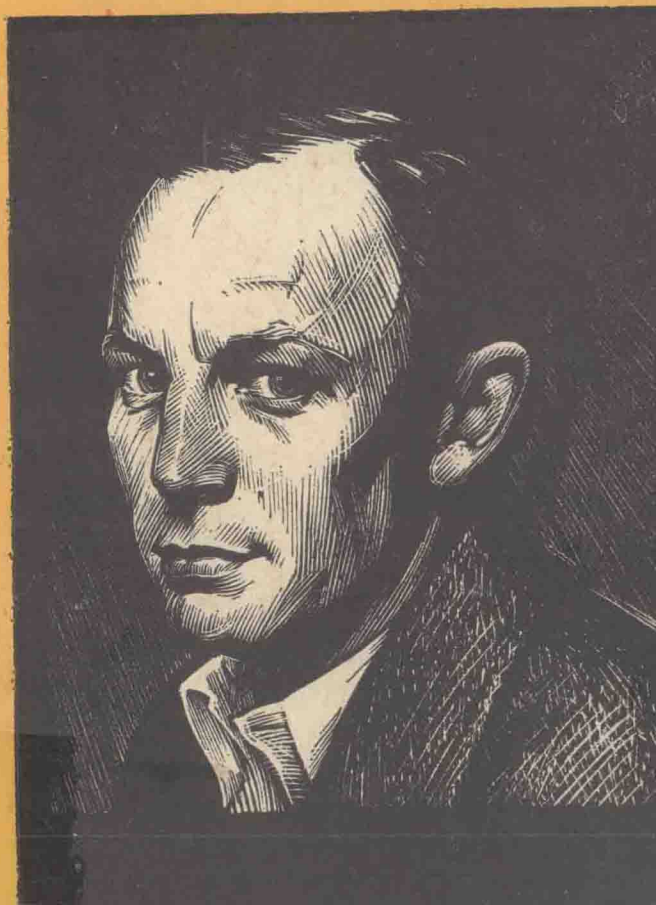


Александр Гладков

ВИКТОР КИН



**Александр
Гладков**

**ВИКТОР
КИН**



Москва
«Художественная литература»
1981

8P2
Г 52

Оформление художника
Р. ВЕЙЛЕРТА

Г $\frac{70202-039}{028(01)-81}$ 215-81 4603010102

Издательство
© «Художественная
литература»,
1981 г.

Личных воспоминаний о Викторе Павловиче Кине у меня немного, но они есть...

Во-первых, — эта небольшая книжка в зеленом картонном переплете с клетчатым рисунком на обложке, попавшаяся в руки как раз в год окончания школы: Виктор Кин, «По ту сторону», роман. Издательство артели «Круг», 1928 год... Это было первое издание, и следовательно, я могу назвать себя читателем Кина самого первого призыва. Я взял ее в руки с намерением перелистать и посмотреть, о чем она. Я был библиотекарем, и книг вокруг хватало. Прочитав первую страницу, я перевернул ее, продолжая читать. Только на сороковой странице я догадался сесть, до этого я читал не отрываясь. За несколько страниц до конца понадобилось включить свет. Уже давно стемнело, и я напрягал зрение. К счастью, в этот вечер библиотека была закрыта для читателей и меня никто не оторвал от книги. Я прочитал ее, как говорится, залпом — эти двести с чем-то страниц маленького, как и все издания «Круга», формата.

Имя автора мне было знакомо по подписям под газетными фельетонами, хотя до этого я не очень выделял его среди других популярных фельетонистов. Я догадывался, что «Кин» — это псевдоним, но он шел к книге и был в духе времени. Его нерусское звучание напоминало авторов приключенческой классики и несло в себе что-то от бодрого сквозняка интернационализма, который проветривал в те годы еще не тронутую перестройками старину московских закоулков. Тогда подобные псевдонимы были в ходу. Комсомольская печать пестрела броскими и чуть загадочными, укороченными именами, похожими на подпольные клички революционеров-профессионалов: Ган, Киш, Ильф, Дэль, Грин. Кроме того, имя «Кин» аукалось с распространенным тогда словом «КИМ», что означало: Коммунистический Интернационал Молодежи, да и

название искусства века — кино — тоже звучало в нем. Мне и в голову не приходило, что это слово из трех букв просто-напросто было последним слогом самой что ни на есть русской фамилии автора: Суровикин. Каюсь, если бы я об этом догадался, может быть, меня бы это даже разочаровало.

Я был моложе автора и героев книги ровно на десять лет и воспринял их как старших братьев и товарищей братьев. Это было другое поколение, чем мое, но соседнее, смежное и кровно понятное. Я ему во всем завидовал. Хотя я тоже рано начал самостоятельную жизнь, но никакого сравнения с их стремительными биографиями не было. Перед барьерами, которые это поколение брало с легкостью, мы останавливались в раздумье: выйдет ли? Но все же часть их удивительной энергии нам передавалась и влияла на нас. И книга Виктора Кина была воспринята как одна из заветных палочек великой эстафеты революции.

Было в ней и другое. Среди иных литературных новинок года, пухлых бытовых и мнимопроblemных романов она, полная внутренней энергии и движения, остросюжетная и увлекательная, была поистине «беззаконной кометой». Рядом на полке стояли книги С. Малашкина и Л. Гумилевского, Г. Никифорова и П. Романова, усиленно муссировавшие модную тогда «половую проблематику». Они и влекли и отталкивали, и романтический заряд, в самое время полученный от «По ту сторону», был необходим. С другой стороны полки стояли очень недурные и похуже переводные романы, в изобилии выпускавшиеся частными издательствами «Мысль», «Пучина», «Космос» и другими. Роман Кина вступал в соревнование с ними на их собственной территории, в великой стране приключений, и это соревнование выигрывал. Снова воспоминания библиотечаря: по читаемости книга пошла наравне с Джеком Лондоном и здорово обогнала Джемса Оливера Кервуда, например. Именно увлекательность книги делала ее подозрительной в глазах строгих ревнителей литературной серьезности.

Летний вечер в самом начале тридцатых годов. В комнате полутемно. На фоне большого светлеющего оконного проема — легкий силуэт человека, сидящего с ногами на широком подоконнике. Я только что вошел в комнату и знаком не со всеми присутствующими. Хозяин комнаты, темпераментный грузин Платон Кикодзе красноречиво обличает руководство РАППа в каких-то уклонах. Я появ-

вился в разгаре спора, и на меня никто не обратил внимания. Человек, сидящий на окне, не то чтобы возражает, но время от времени вставляет заorno-иронические фразы. Одна из них настолько смешна, что я, не выдержав, хохочу. Кикодзе бросает на меня свирепый взгляд.

Спор идет на самом высоком философском уровне. В то время вся молодежь увлекалась Гегелем, и термины диамата пестрели во всех разговорах, не исключая тем футбола и джаза Утесова. Лицо сидящего на окне мне не видно. Но вот опять отворяется дверь, и вошедший с хода поворачивает выключатель. Спор как-то сразу выдыхается. Еще несколько шуток — и двое уходят: один из них тот, кто сидел на окне. Он невысок, худощав, строен. Серый костюм и светло-синяя рубашка без галстука. Серо-голубые глаза. Блондин. Крепко сжатый, насмешливый и упрямый рот. На пороге оборачивается и еще что-то острит в адрес Кикодзе, но исчезает раньше, чем тот успевает взорваться. Не помню самую остроту, но хорошо помню ее стиль — нечто вроде фразы из записных книжек Кина в однотомике: «Он жевал художественную литературу, как бык жует фиалку...» Сказанное так смешно, что хохочут все.

Я спрашиваю Кикодзе — кто это?

— Как? Разве ты его не знаешь? Это Виктор Кин.

Я вскакиваю.

— Виктор Кин? Тот самый...

— Ну да! Умный малый, но застрял в «переверзевщине»...

Кикодзе готов с места начать избличать профессора, имя которого тогда было у всех на языке. Любопытный человек Платон Кикодзе. Помню, что он был против Авербаха, Либединского, журнала «На литературном посту», Воронского, Полонского, «ЛЕФа», конструктивистов, Литфронта¹, находил мелкобуржуазные ошибки у Горького, презирал Алексея Толстого и Художественный театр, обличал Мейерхольда за механицизм, Андрея Белого за антропософию, кого-то за вульгарный социологизм и всех остальных за разное. Не помню только, за что он стоял

¹ Лит фронт (Литературный фронт) — литературная группа советских писателей, существовавшая в 1930 году и включавшая так называемую «левую оппозицию» внутри РАППа и бывших участников группы В. Ф. Переверзева. В Литфронт входили А. Безыменский, В. Вишневский, В. Кин, И. Беспалов, С. Родов, А. Зорин, Г. Горбачев, М. Гельфанд, А. Горелов и др.

сам. Это было живое воплощение критицизма, пожирающего самого себя. И при этом он был живым и талантливым человеком, правда слишком шумным и красноречивым.

Он сразу разразился монологом об учениках Переверзева. Но меня совсем не интересует профессор Переверзев, его ученики и их оппоненты. Интересует меня сам Виктор Кин.

Так вот он какой! Пожалуй, похож на Безайса, но это не Безайс... Да, этот человек мог написать «По ту сторону».

Такой была моя первая в жизни встреча с Виктором Кином в общежитии аспирантов Комакадемии, в большом доме у Никитских ворот.

Я не произнес при нем ни слова, но, как оказалось, он меня запомнил. Может, потому, что я тогда засмеялся. Или просто так, неизвестно почему. А может, и вовсе не запомнил, но, когда припомнил весь этот вечер, и спор о философии и литературе, и крикливый голос Платона Кикодзе, ему показалось, что он и меня вспомнил, когда я заговорил о нашей первой встрече.

Это было через шесть лет в такой же летний московский вечер и, по странному совпадению, почти на том же месте, напротив дома, где раньше находилось общежитие Комакадемии, на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву. Он прошел мимо меня, сидящего на скамейке, и вдруг остановился и сел рядом. Я сразу узнал его, хотя ни разу с тех пор не видел. Он закуривает, замечает мой пристальный взгляд, вопросительно взглядывает, полуотворачивается, молча курит, снова оглядывается.

Я заговариваю и напоминаю обстоятельства первого знакомства. Он почти не изменился—так же строен, худощав, моложав. Так же непринужденно элегантен.

Разумеется, ничего сверхзначительного или сакраментально-пророческого при этой встрече сказано не было. Случайный характер ее и весьма отдаленное знакомство не позволили разговору выйти из границ болтовни о том о сем. Что-то о приехавших в Москву в те дни баскских футболистах. О книге Тарле о Наполеоне. Я спросил его о профессоре Переверзеве. Он пожал плечами и улыбнулся. Былые яростные споры о «переверзевщине» выглядели простодушной буколичкой на фоне этого июльского вечера. С каких-то произнесенных слов, от каких-то общих неназванных ассоциаций между нами тогда установилась

атмосфера понимания, определившая тональность моего единственного разговора с ним.

За день или за два до этого похоронили Марию Ильинишну Ульянову. Кин работал с ней в «Правде» и рассказал мне два-три эпизода. В них тоже светилась его добрая улыбка. Я задал ему вопрос о Литфронте. Он ответил небрежно, иронически, как о чем-то неважном, хотя именно это ставилось тогда ему в вину. У меня в руках был томик «Былого и дум» — только что начали находить книжки этого удобного маленького формата в зеленом переплете. Он попросил его, перелистал, понимающе оценил, поддержал, как бы взвешивая, на руке и вернул мне. Разговор обратился к книгам — тема неисчерпаемая...

Сколько мы просидели разговаривая: полчаса, час или больше, — не помню. Позванивали и дребезжали на стрелке трамвайные вагоны линии «А». Пахли левкой. Потом Кин сказал, что ему нужно позвонить по телефону-автомату. Ближайший автомат был в аптеке (теперь этот дом снесен). Я шел к Арбатской площади. Мы пересекли улицу и на углу у аптеки расстались...

Вот и все. Немного. Но у меня есть ощущение, что я знал Виктора Кина. И мои беглые и незначительные воспоминания как-то остро и точно впечатываются во все, что я о нем слышал раньше и узнал потом. Главное в первой встрече — победоносная и уверенная в себе сила ума и веселый оптимизм. Во второй — мужество.

2

Москва в начале двадцатых годов была городом необыкновенным. Еще были живы в ней черты сытной и шумной купеческой столицы, поражавшей мир утонченным модернистским искусством и следами уходящей в древность старины, нищими на папертях и неугасимыми лампадами перед Иверской богородицею. На нее наслоились аскетические углы и линии красной резиденции Коминтерна, тревожившей планету странными сокращенными словами — РОСТА, Чека, вуз, КИМ. На все это лег непрочный, но яркий, как сияние встряхнутой электрической лампочки, блеск нэпа. Кое-кому показалось тогда, что в ней начал складываться прочный, косный быт совслужащих, «новой буржуазии» и засевающего за учебники пролетарского сту-

денчества, и они затосковали по недавним революционным потрясениям, не догадываясь об эфемерности этого быта. Как странно сейчас читать романы и повести тех лет, где хилый выскочка Нэп изображался грозной силой, сокрушившей молодую революцию. Они писались совсем незадолго до новых, еще неслыханных потрясений, неизменно изменивших страну и ее древнюю и вечно юную столицу. В них поэзия гражданской войны противопоставлялась та минутка мирных будней, которая исторически оказалась действительно всего лишь минуткой, не более того. А между тем на этих сюжетах, полных эффектных контрастов и фотогеничной горечи, создавалась и упрочилась не одна литературная репутация. В очень большой части это была мнимая литература о псевдопроблемах. Но некоторым критикам тогда казалось, что именно такие романы продолжают традиции великой русской литературы.

В те годы в Москву со всех концов республики ехали толпы молодых людей, битком набитых энергией, честолюбием, неслыханной жадностью учиться и работать. Киевский и Курский вокзалы выбрасывали оживленных и тщеславных южан. С Казанского и Ярославского прибывали уральцы, сибиряки, дальневосточники. Осенью 1924 года на перрон Ярославского вокзала из уральского поезда вышел невысокий, худощавый, светловолосый молодой человек — Виктор Павлович Суровикин. Ему недавно исполнился двадцать один год, но за его плечами было два фронта гражданской войны, подполье на Дальнем Востоке, партийная и комсомольская работа, редактирование газеты «На смену» в Екатеринбурге (теперь — Свердловске): наивная и пылкая провинциальная журналистика.

Пристально и удивленно он рассматривал нэповскую Москву. «Он уехал отсюда два года назад, в двадцать первом году, когда город шумел другой жизнью, и теперь не узнавал ничего — ни улиц, ни домов, ни людей». Так впоследствии Виктор Кин описывал приезд в Москву Безайса. До этого жизненные пути автора и его любимого героя идут рядом, но дальше они расходятся. Кин не провалился в МГУ, как Безайс, он поступил в Государственный институт журналистики (ГИЖ) и его закончил. В Екатеринбурге, столице пролетарского Урала, Виктор Кин на всю жизнь влюбился в газетное дело. В своем шутовском автопортрете, сделанном в манере Родченко, Кин

в верхнем правом углу в стилизованное облако, символизирующее мечты, вписал слово ВУЗ. Это было высшей точкой его желаний.

Много позже (запись не датирована, но, судя по всему, это середина тридцатых годов) Кин писал:

«В 24-м году я приехал в Москву и поступил в одно высшее учебное заведение, называть которое я не буду.

Веселое это было место — мое учебное заведение. В нем нас обучали люди, которые никогда не были профессорами, наукам, которых никогда не было на свете. Они выходили на кафедру и импровизировали свою науку. Мы, студенты, относились к ним добродушно и не мешали их игре. Все знания, которые я вынес из этого вуза, сводятся к следующему:

1. Что Герцен в своих произведениях прибегал к анафоре.

2. Что к ней прибегал также и Плеханов.

3. Она встречается и у Маркса.

4. Ею пользовался и Ленин.

А что такое анафора — я забыл. Что-то вроде запятой или восклицательного знака. Убейте, не помню...

Я бы так и остался неучем, если бы не занимался сам.

Нас торжественно, с речами и музыкой, выпустили из этого вуза...»

Вся эпопея с «этим вузом» длилась что-то очень недолго, и когда весной 1925 года в Москве пошли разговоры о создании большой всесоюзной молодежной газеты, Кин сразу понял, что это его настоящее дело. Он стал штатным сотрудником «Комсомольской правды» за несколько недель до выхода первого номера и на протяжении полутора лет заведовал в ней отделом фельетонов. Каждый два-три дня на страницах газеты появлялись короткие, острые, яркие фельетоны самого Кина. Кроме того, он находил и привлекал к работе в «Комсомолке» молодых одаренных журналистов, которым — особенно на первых порах, пока те не «набивали руку», — самоотверженно помогал.

Первый номер «Комсомольской правды» вышел в начале лета 1925 года. Душой газеты сразу стал Тарас Костров, сначала числившийся заместителем ответственного редактора, но вскоре назначенный редактором; человек, о котором все, знавшие его лично или хотя бы понаслышке, вспоминают известными строчками Маяковского: «Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевной

ширю...» — из стихотворения, называющегося «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

Тарас Костров носил русскую бородку и казался юным газетчиком, составлявшим весь штат редакции, стариком, хотя ему самому было лишь немногим больше тридцати. Но тогда этот возраст представлялся весьма солидным — вспомним того же Маяковского: «Мне ж, красавица, не двадцать — тридцать с хвостиком».

Я познакомился с Костровым позже — в самом конце двадцатых годов, — и мне со скромной высоты моих семнадцати лет он, разумеется, тоже казался стариком. Но такие уж это были годы: молодежь рано начинала жизнь, сразу ставила себе большие задачи, быстро росла, привыкала к ответственности, училась, взрослела. Многие из начинающих свой журналистский и литературный путь в «Комсомольской правде» двадцатых годов обязаны Тарасу Кострову твердым, хотя и не назойливым, руководством и, главное, ответственностью большого доверия.

В редакции господствовала подлинно товарищеская атмосфера сверху донизу. Авторитет Кострова был неоспоримым, но молодые сотрудники были изобретательными и инициативными. Все знали, что они делают одно дело, и гордились своим участием в этом деле. Когда осенью вышел сотый номер газеты, вечером в редакции, в Старом Ваганьковском переулке на Воздвиженке, сдвинули столы, убрали чернильницы, паки, пишущие машинки, украсили комнаты цветами и организовали импровизированный праздничный банкет, на который пришли все — от ответственного редактора до уборщицы. Новая комсомольская газета за несколько месяцев завоевала большую популярность и авторитет, работа давала настоящее удовлетворение, и настроение у молодых журналистов было превосходное.

В этот день в юбилейном, сотом номере был напечатан фельетон Виктора Кина, так и называвшийся «Сотый». В теплых юмористических тонах в нем рассказывалась история выпуска сотого номера провинциальной молодежной газеты «Красные Молодые Орлы» тиражом в двести экземпляров. Кин пародирует штампы наивной и темпераментной комсомольской журналистики того времени, но делает это мягко и ласково.

«Номер открывался громадным лозунгом, который выдумал Петька: «МЫ РАСТЕМ». Гвоздем номера был Петькин фельетон, носивший длинное, но энергичное

пазвание: «Гибель подлых замыслов, или Наш Юбилей»... «Пуанкаре сидел в своем кабинете на шикарном кресле рококо, когда к нему ворвался Ллойд-Джордж и простонал, чтобы ему дали воды...» Далее Петька чертовски ловко изобразил, как капиталистические акулы сетовали по поводу растущей мощи Советской России, чему неопровержимым доводом служил сотый номер «Красных Молодых Орлов»... Фельетон заканчивался так: «Сейчас уже нет газеты «Красные Молодые Орлы». Она закрылась при первом дыхании нэпа, и теперь ее последними экземплярами обклеена прихожая в укомле. Ушли Пуанкаре и Ллойд-Джордж, свидетели прошлых огненных дней. Другая газета, ежедневно выбрасывающая с гудящих ротаций сто тысяч экземпляров, празднует свой сотый номер. И когда взглянешь на бурные, из оберточной бумаги страницы «Красных Молодых Орлов», на сбитый, слепленный, как икра, шрифт и сравнишь с «Комсомольской правдой», то невольно согласишься с Петькой: «Мы растем!»

Несмотря на все преувеличения, впрочем, вполне традиционные для жанра фельетона (кстати, екатеринбургская молодежная газета «На смену», которую Кин редактировал до переезда в Москву, была не в пример серьезнее и умнее, чем вымышленные «Красные Молодые Орлы», — подшивка газеты сохранилась, и в этом можно убедиться), — в «Сотом» Кин как бы дает выдержанный в юмористической тональности, но вполне достоверный очерк истории комсомольской журналистики. Но уже в первый год своего существования «Комсомольская правда» ушла далеко вперед и могла позволить себе дружески посмеяться над вчерашним днем своих предшественниц.

Москва середины двадцатых годов. Нэп в разгаре. Витрины Петровки и Столешникова демонстрируют последние парижские моды. В традиционном послеобеденном променаде можно увидеть эти моды на живых образцах. Бесшумно летят извозчики-лихачи на дутых шинах. Вечерами они вереницами стоят у ресторанов. Вывески магазинов и кафе подчеркивают деловую и духовную преемственность с прошлым: молочные носят имена Чичкина и Бландова, сушеные фрукты — Прохорова, пивные — Корнеева и Горшанова, кафе — Филиппова и Сиу. Толстые клячи тащат по городу закрытые грузовые фургоны. На них имя: «Яков Рацер». Это продажа угля по телефонным заказам. Иногда частники прикрываются видимостью артели или кооператива — например, популярная аптека

на Никольской называется «Аптека общества бывших сотрудников Феррейна». Потом исчезнет и этот фиговый листок, но еще долго москвичи будут называть аптеку именем Феррейна, от которого осталось только одно это имя, и привычка сохранить его почти до наших дней, как и легендарное имя купца Елисеева.

Но есть и другая Москва — Москва Госплана и наркоматов, Москва заводских окраин, рабкоров, комсомольских клубов, Москва Маяковского и Мейерхольда, Университета имени Сун Ят-сена и Сельскохозяйственной выставки. Эти две Москвы — нэповская с ее обманчивым блеском, и советская, коммунистически-комсомольская, — даже во внешнем облике города существуют рядом, почти не смешивающимися слоями, как жидкости с разным удельным весом. И пожалуй, это самая яркая и бросающаяся в глаза особенность Москвы двадцатых годов. Торопливая, как бы сама не верящая в свою долговечность, показная роскошь нэпа и демократический аскетизм советской Москвы. Аскетизм этот несколько демонстративен: он связан уже не столько с материальным уровнем жизни, резко поднявшимся после укрепления советского рубля, сколько с желанием противопоставить что-то всему «буржуйскому»; он полемичен, вызывая и доходит до крайностей. Меховщик Михайлов выставляет в своем магазине на углу Столешникова и Большой Дмитровки соболя и норки, а в комсомоле спорят о том, имеет ли право комсомолец носить галстук.

С одной стороны — фламандское изобилие прилавков в Охотном ряду; свистки «уйди-уйди» у еще не снесенной Иверской; беспризорники в асфальтовых котлах; куплетисты Громов и Милич, поющие на мотив «Ламца-дрица» об абортах, алиментах и Мейерхольде; казино с величественным крупье, похожим на члена палаты лордов; пивные с полами, посыпанными опилками, с моченым горохом и солеными сухарями на столиках; на территории бывшей Сельскохозяйственной выставки чемпионаты борцов с участием Поддубного, Башкирова, Шемякина; гулянье с самоварами напрокат на Воробьевых горах; цыгане в «Праге»; каламбуры митрополита Введенского; американские кинобоевики в кинотеатре на Малой Дмитровке; бесконечные рекламы курсов «Полиглот» и врачей, принимающих на дому; церковный звон, еще легко пробивающийся сквозь уличный шум, состоящий из пронзительных трамвайных звонков, цокота лошадиных копыт, разнообразных

голосов автомобильных сирен и диких воплей разносчиков...

С другой стороны — полные достоинства совслужащие; «моссельпромпцицы» на углах с синими лотками и в кепи с длинными козырьками; первые радиоконцерты с неизбежным гуслиаром Северским, почти каждый день певшим «В лесу, говорят, в бору, говорят»; фотомонтажи Родченко и фильмы Льва Кулешова; пионеры с кружками, собирающие пятаки в пользу английских горняков; командиры в буденовках и с огромными красными диагональными нашивками на шинелях; «Синяя Блуза» в Доме союзов; стриженные рабфаковки в кепках; дискуссионные листки в «Правде»; кожаная тужурка Артемия Халатова; Луначарский, с интеллигентным грассированием выступающий со вступительным словом к прыжкам чубатого клоуна Виталия Лазаренко (старшего); рыжий бек Федор Селин на стадионе в Сокольниках; рифмованные рекламы папирос на крышах трамваев; обнесенный забором пустырь на Тверской, на углу Газетного, где строится будущий Центральный телеграф; китайские студенты, играющие в волейбол во дворе Университета имени Сун Ят-сена — на углу Волхонки и Большого Знаменского...

Газетная дискуссия о галстукке принимает вдруг широкий и весьма пылкий характер. Театр Пролеткульта ставит новую пьесу Анатолия Глебова, так и называющуюся — «Галстук». В кассах билетов на нее не достать: все спектакли заранее проданы для комсомольских культпоходов. Споры в антрактах в фойе и на плохо освещенных Чистых прудах, когда зрители расходятся по домам. Проблему галстука «заостряют», «углубляют», «ставят ребром», связывают с проблемами быта, семьи, любви. В своей стихотворной публицистике этой темы касается Маяковский, а на страницах «Комсомольской правды» сам редактор Тарас Костров посвящает ей значительную часть большой статьи «О культуре, мещанстве и воспитании молодежи».

Дело тут, конечно, не в галстукке как таковом: это был лишь удобный пример, так сказать, пример-символ. Проблема не так проста, как это может показаться сейчас: подумаешь, в самом деле, галстук... Но дело в том, что убежденные противники галстука как «буржуйского» украшения противопоставляли тому, что они считали пустым модничаньем, показную небрежность в одежде, часто граничившую с неряшливостью, бытовой распущенностью и общей расхлябанностью в поведении, которым пора было

дать бой. И бой был дан. Спор о галстуке оказался только разведкой. Дружная армия фельетонистов «Комсомольской правды» во главе с Виктором Кинем — И. Малеев, В. Дмитриев, С. Карташев, И. Лин, В. Охременко и другие, а также публицисты газеты — сам Костров, В. Кузьмин, В. Сленков — всеми родами газетного оружия открыли кампанию за воспитание комсомольца нового типа, с галстуком или без галстука, но которому были бы по плечу огромные задачи социалистического развития страны на этом историческом этапе.

3 ноября 1925 года Виктор Кин посвящает этой теме уже не фельетон, а публицистический «подвал» на третьей полосе. Он так и называется — «О типе комсомольца». Автор меньше всего склонен читать нотации и давать советы. Он раскрывает исторически, как в комсомоле сложился некий культ небрежного отношения к быту. Он вспоминает годы гражданской войны с их суровыми условиями, когда некогда и невозможно было следить за собой, о времени, когда пренебрежение к личным удобствам стало привычкой, помогавшей переносить трудности.

Кин показывает, как сложился этот тип, он отдает ему должное: ведь еще недавно личное бескорыстие и безразличие к себе было свойством самых лучших борцов. Но именно поэтому и нелегко бороться с вырождением этих свойств в то, что сейчас уже является просто ленью и разгильдяйством. Изменилось время, должны измениться и привычки. «Время ломки, борьбы, разрушения кончилось. Страна входит в период строительства, который потребует от строителей точности, аккуратности, четкости. Нужен новый человек, новый тип, аккуратный, опрятный, культурный».

3

Виктор Кин до конца жизни продолжал считать своей основной профессией профессию журналиста. Вдова писателя, Ц. И. Кин, рассказывала мне, что уже после опубликования и шумного читательского успеха «По ту сторону» Кин полушутливо говорил: «Я — журналист. А роман написал просто так, потому что мне захотелось». Уже будучи известным писателем, он не хотел заниматься только художественным творчеством и стал специальным корреспондентом ТАСС в Италии, а затем во Франции, а когда

его застигла смерть, он был редактором московской газеты на французском языке «Журналь де Моску».

Но «Комсомольская правда» оставалась первой любовью. Читатели газеты привыкли к ярким фельетонам Кина и, развернув газету, уже привычно искали их на обычном месте — внизу или в центре на первой полосе. Газета тогда версталась иначе, чем теперь, и фельетон почти непременно шел на первой полосе: передовая, иностранные телеграммы, большая политическая карикатура и обязательно фельетон. Этим как бы подчеркивалось то важное место, которое он занимал в номере. Мы сейчас понимаем под фельетоном если не анекдотическую, то во всяком случае смешную историю, рассказанную с нравоучительной целью. Тогда содержание фельетона рассматривалось шире — он мог быть и лирико-публицистическим, и романтическим, оставаясь при этом обязательно остроумным.

Посмотрим газетные заголовки нескольких наудачу выбранных номеров «Комсомольской правды» середины двадцатых годов. Что волновало молодых читателей в эти годы? Перелистываешь старые комплекты газет, и с их пожелтевших страниц (это вовсе не привычный и достаточно штампованный эпитет — газетная бумага была скверная и действительно пожелтела от времени) встает образ далекого и с исторической дистанции кажущегося особенно романтическим времени...

Реза-хан, свергнув шаха, стал правителем Персии. Так в те годы именовался нынешний Иран. Франция вела бои в Марокко с восставшими рифами. В каждом номере газеты мелькало имя вождя рифов — неуловимого Абд-аль-Керима. Восстание в Сирии. Это были первые авангардные сражения будущих освободительных антиколониальных войн. Забастовки и демонстрации в Шанхае и Кантоне. В Америке тянется процесс Сакко и Ванцетти. Тайна этого процесса уже разгадана всем миром, но американские судьи самолюбивы, упрямы и мстительны, и двое невинных итальянских эмигрантов сядут на электрический стул. Всеобщая забастовка в Англии. Разгул белого террора в Румынии и Болгарии. Смерть Фрунзе. Предательское убийство дипкурьера Нетте, о котором вскоре Владимир Маяковский напишет стихи. XIV съезд партии. 7-й съезд РЛКСМ. Столетие декабристского мятежа. Празднование 200-летия Академии наук. Самоубийство Есенина. Амундсен летит на дирижабле на Северный полюс. В Москву

прибыли шахматные чемпионы Ласкер и Капабланка для участия в международном турнире...

Из мира науки: первые радиопередачи с аэроплана; споры об омоложении: Воронов или Штейнах? Теория от-носительности...

Главный инженер фирмы Симменс-Буаньон приехал в Москву для переговоров о строительстве метрополитена по линии Каланчевская площадь — Арбат. Открытие уже седьмой по счету автобусной линии между Краснопресненской заставой и бойнями. Реввоенсовет утвердил Мейерхольда в звании почетного красноармейца. В Нью-Йорке идет погрузка 10 000 тракторов, купленных СССР. Топливные затруднения. В связи с призывом в армию в Московской области запрещена продажа водки. Эпидемия бешенства собак. Искусано 30 человек.

В газетах печатается расписание передач двух радиостанций: им. Коминтерна и им. Попова. В вечерние часы они передают радиогазету, лекции и концерты.

Заметное место занимают в газетах судебные отчеты. Будущий знаменитый спецкор-путешественник Михаил Розенфельд дает подробные отчеты о деле провокаторши Серебряковой. Дело Коренькова. Дело провокатора Крута. Чубаровское дело. Дела о растратах и хулиганстве.

В кинопрокате — засилье заграничных кинобоевиков, и появление каждого нового советского фильма встречается как «победа». Сейчас нетрудно видеть, как не сразу устанавливается истинный масштаб оценок: и «Броненосец «Потемкин» — победа, и «Абрек-Заур» — тоже победа.

Отдела спорта еще нет. Он называется «физическая культура». Слово «спорт» употребляется только вместе с эпитетом «буржуазный». Статья наркомздрава Н. Семашко «К спорам о футболе». Спор идет о том, вреден ли футбол для рабочей молодежи. Кончается статья такой фразой: «Лаун-теннис должен стать не буржуазной, а комсомольской игрой».

Специальные отделы: «Жизнь деревенской молодежи» и «Детское коммунистическое движение». Не сразу, а постепенно находится форма сменных тематических полос. Их готовили с большим азартом. Ц. И. Кин, которая в те годы работала в «Комсомольской правде» и заведовала там пионерским отделом (это и есть «Детское коммунистическое движение»), писала в своих воспоминаниях о том, как однажды Костров, при всей своей мягкости, рассердился на нее, когда она расплакалась из-за того, что в по-